

В половине восьмого утра к Фонарным баням подъезжает старенький москвич. Из него выскакивает тщедушный человек в надвинутой на лоб кепке, обегает машину и распахивает дверь. Сперва показывается неспгибающаяся нога, потом правая рука с палкой, кудлатая голова, левая рука с палкой и, наконец, подтянув вторую ногу, из машины вылезает вся Зинка, большая, грузная, с бисеринками пота над верхней губой.

— Езжай, Фёдор, я доберусь, — приказывает она звонким голосом.

Но Фёдор идёт рядом до подъезда, и только убедившись, что ни лужи, ни скользкий тротуар больше ей не угрожают, придерживает дверь и возвращается к машине.

Широко расставляя палки и неуклюже переваливаясь, Зинка поднимается на один пролёт лестницы, где в душном закутке, именуемом «парикмахерской», ей предстоит провести рабочий день. Зинка — знаменитая на весь район маникюрша, гордость Фонарных бань. Хотя, кроме неё, в парикмахерской работают ещё два мастера, в коридоре скопилась очередь — дожидаются Зинаиду. При её появлении возникают подобострастные улыбки, но она, не здороваясь, ковыляет мимо, входит в комнату и ставит в угол свои палки. Кряхтя, снимает пальто, кофту, юбку на пуговицах и надевает белый халат прямо на сорочку. Потом усаживается за свой столик и минуты три сидит неподвижно с закрытыми глазами. Обе Зинкины ноги отрезаны выше колен и протезы плохо справляются с её тяжёлым телом. Но вот она отдышалась, улыбнулась и хлопнула ладонью по кнопке настольной лампы.

— Кто там первый, дамочки, пожалуйте!

Зинкино лицо, раз увидев, — уже не забудешь. Захоти тщеславное человечество похвастаться перед инопланетянами, оно послало бы её в космос как эталон земной красоты. А если бы волею судьбы родилась Зинка в Калифорнии и болталась бы на пляже в Санта-Монике или слонялась по барам, покуривая травку, — её непременно заметил бы какой-нибудь голливудский продюсер. Придумал бы Зинке экзотическое имя вроде Бо Дерек, снял бы с ней фильм «Игра с тенью», и её портреты с семизначными цифрами дохода не сходили бы с обложек «People» и «Vanity Fair».

— Когда она выходила из дома, — разоткровенничался как-то в гостях подвыпивший Фёдор, — и дождь кончался, и ветер стихал, и собаки переставали гавкать. Королева!

— Давай, ври больше... — подзадоривала Зинка мужа. — Как же ты, голубчик, домой меня повезёшь, коли так налился?

— На руках, матушка, на этих самых, — Фёдор протягивал к ней руки, и Зинка улыбалась, бросая на мужа насмешливый и ласковый взгляд.

«На руках, на этих самых» внёс Фёдор Самохин двадцать лет назад в свою коммунальную квартиру будущую жену Зинаиду Рябинкину, безногую Зинку, обрубок с лицом богини. Положил на постель, встал на колени рядом и гладил, и целовал её руки, пока застывшее Зинкино лицо не сморщилось, став беспомощным и жалким, и по щекам не покатались слёзы, устремляясь за ворот больной рубахи. Два месяца он, отщучиваясь, сносил её проклятия, купал, кормил, переодевал. И ночью, постелив на пол возле кровати матрас, дремал, как пёс, прислушиваясь к каждому Зинкиному вздоху.

И только, когда она впервые прошла на новых протезах от двери до окна и обратно, постанывая от боли и матеря Фёдора на чём свет стоит, — впервые напилась и, уронив голову на стол, навзрыд заплакал.

Зинка родилась в Ленинграде за два года до войны и в блокаду осталась сиротой. Её перебрасывали из одного детского дома в другой, пока она люто не возненавидела запах детдомовских столовых, байковые застиранные одеяла, лица воспитателей, среди которых не различала добрых и злых, сердечных и равнодушных. Сколько раз убегала — не помнит. Хвасталась, что её фотографии «трудно воспитуемого подростка» хранились во всех привокзальных отделениях милиции от Архангельска до Алушты.

— Не миновать бы мне колонии, кабы не Шура, царствие ей небесное, а я — тварь неблагодарная... — И Зинка, запрокинув голову, хохотала, и чистый звонкий её смех разносился по Фонарным баням.

Шура, дальняя родственница отца, разыскала Зинку, когда той было шестнадцать. Взяла к себе, отдала в вечернюю школу — для дневной Зинка была переростком.

— Ох, и тусклая была баба, одно слово — бухгалтер. Да нет, она меня не обижала, но, только как посмотрю на неё, — зубы от скуки ломит.

Через год у тётки появился хахаль. И Зинка его отбила.

— Ума не приложу, на кой он мне сдался, — ни кожи, ни рожи... Видно, натура такая шkodливая... Как-то раз она нас застучала. Ему — фингал под глаз, а меня за волосы оттаскала и выбросила на лестницу... Но с вещами — швырнула следом пальто и боты. Мой кавалер оказался «лыцарем». «Не переживай, — говорит, — Зинаида, Шура отойдёт и обратно пустит, а я тебе не поддержка, сам в общежитии втроём в одной комнате». Сунул мне тридцатку и сгинул. Больше я его и не видела.

Два дня проболталась Зинка на Московском вокзале, высматривая подходящего проводника, чтоб посадил без билета на какой-нибудь южный поезд, а на третий — встретила в буфете короля Лиговки Лёньку Орлика. И стала Зинаида

его подругой. Владения их простирались от площади Восстания до Обводного канала, и вся шпана этих мест единодушно признала Зинку и её неограниченную власть. Чем промышлял Орлик — Зинаида не рассказывала, но деньжата у него водились и немалые. Подругу он баловал и щедро задаривал.

— Надень я зараз все цапки, сверкала бы, как Кремлёвская ёлка. Но я таким добром не дорожила. Спустили мы этот хлам и в Сочи смотались... Тысяч семьдесят тогда прогуляли... старыми, конечно.

В этот период Зинкиного расцвета и встретил её Фёдор Самохин, токарь Адмиралтейского завода, передовик производства, «не слезающий», по Зинкиным словам, с доски почёта. Встретил и погиб.

Щуплый, неказистый, он и помыслить не смел подойти к ней, но высмотрел, где живёт, и издали следил за каждым её шагом, тщетно пытаясь унять настойчивую боль в сердце, непомерную тоску, не отпускавшую его теперь ни днём, ни ночью.

Однажды не выдержал. Лёнькина компания отправилась кутить в «Универсаль», и Фёдор поплёлся за ними, занял место в дальнем углу и тихо напивался, глядя, как веселится королева со своей свитой. Когда заиграли танго, решился. На ватных ногах подошёл к их столу и пригласил Зинаиду танцевать. От этой наглости общество остолбенело, а Зинка фыркнула на весь стол:

— Видали, что делается? У кого успех имею?

— Не груби, Зинаида, — сказал великодушный Орлик. — Потанцуй с товарищем.

Держа Зинку, словно этрусскую вазу, Фёдор выплыл на середину зала. Он был почти на голову ниже неё и, когда отважился поднять лицо и встретился с её холодными, как полыньи, глазами, у него подкосились ноги.

— Меня зовут Фёдор Самохин, — пробормотал он, споткнулся и наступил на её белые босоножки.

— А пошёл ты... Самохин... — вывернулась из его рук и упорхнула к своему столу.

С тех пор «случайно» встречаясь на улицах, Фёдор осмеливался здороваться с Зинаидой. Она, смотря по настроению, иногда кивала, иногда бросала «привет», а однажды остановилась.

— Что-то ты, парень, мне часто на глаза попадаться стал... — и усмехнулась, и прищурилась, и из-под золотистых её ресниц ударили в грудь Фёдору Самохину лучи невиданной силы.

Он хотел пошутить в ответ, но задохнулся, а она уже отошла, и её светящиеся волосы застили Фёдора солнцем.

После этой встречи Фёдор впервые в жизни написал стихи. Щадя его самолюбие, я не стану их цитировать, но, хотел он сказать примерно следующее:

...Я всё в тебе люблю. Я счастлив, вспоминая
Твой каждый жест пустой и каждую из фраз.
Я помню год назад двенадцатого мая
Переменила ты причёску в первый раз.

И волосы твои с их золотистым цветом
Привык считать, мой ангел, солнца светом.
Ты знаешь, если мы на солнце поглядим,
То алые кружки нам кажутся повсюду.
Так с взором пламенным расставшийся твоим
Всё пятна светлые я долго видеть буду.

(Эдмон Ростан «Сирано де Бержерак», перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник).

Летом Самохина отправили на три месяца в Мурманск. Бригада адмиралтейцев должна была отремонтировать ледакол. Вкалывали по тринадцать часов, благо ночи на севере белые, зарабатывали сверхурочные. В оставшиеся часы пропивали их вместе с зарплатой в ресторане «Прибой» или просаживали в карты.

И только Фёдор, общее посмешище, не пил, не гулял. Бродил часами по ночному городу или писал Зинке длинные письма. Конечно, ни одного не отправил. Не осмелился.

К концу командировки скопилось у него порядочно денег, и решил он сделать Зине подарок. Если бы Фёдор читал Куприна, послал бы ей, вероятно, гранатовый браслет. Но он купил у норвежских моряков вишнёвые замшевые сапоги до колена на тончайшей шпильке. В те времена такой подарок был поистине царским. Теперь мучила Фёдора задача, каким образом сапоги вручить. Послать из Мурманска посылку? Но она даже не вспомнит — от кого. Подождать до ноябрьских и отдать, повстречавшись на улице? Так не возьмёт же... Он так ничего и не придумал. И пакет пылился в общежитии под кроватью, дожидаясь своего часа.

Хотя в газетах об этом не было ни строчки, слухи о зверском преступлении на углу Марата и Стремянной уже месяц циркулировали по городу, обрастая всё новыми ужасающими подробностями. И Фёдор Самохин узнал об этом через пять минут после приезда. Как только бросил на кровать чемодан и вышел на свою коммунальную кухню поставить чайник.

Вернулся по амнистии до срока лучший друг Орлика Санька Катков. Увидел Зинку и потерял голову. Ну и она тоже... То ли влюбилась в него, то ли просто Лёнька ей наскучил. Месяц Орлик терпел, дважды толковал с другом по-хорошему и наконец — нервы, видно, сдали — избил Зинаиду. Она стояла посреди комнаты с рассечённой губой и улыбалась.

— Ну, конец тебе, Орлик, — ползти за мной будешь, не вернусь.

Выслеживал он их недолго. Да они не прятались, пренебрегали. В начале августа поздним вечером возвращались из кино в трамвае к Саньке домой. У трамвая «27» на Стремянной — кольцо, и во втором вагоне, кроме них и кондуктора, никого не было. Видно, Орлик ехал в первом, а на предпоследней остановке перебежал в их вагон и бросился на Саньку с ножом. Из трёх ран две оказались смертельными. Зинка бросилась по проходу к передней двери, он за ней. То ли дверь была сломана, то ли просто открыта. Орлик толкнул её в спину, под колёса проходящей машины.



— Санька тут же в трамвае и помер, — тараторила соседка. — «Скорой» не дождался, а Зинаида в больнице, ноги у ей отрезаны. Допрыгалась девонька!

Всю ночь под проливным дождём стоял Фёдор напротив Зинкиного дома, глядя на тёмное окно. В открытой форточке ветер шевелил тюлевуу, в мелких розочках занавеску. Под утро он зашагал на Стремянную, на кольцо «27»-го и кружил по спящей улице, всматриваясь в трамвайные рельсы. Между рельс от дождя пузырились белой пеной, словно вскипали, лужи. А потом подъехал первый трамвай, и вожатый раздражённо засигналил Фёдору, чтобы он убрался с путей.

Ввиду особых обстоятельств Зинаида Рябинкина лежала в отдельной палате, и её уже несколько раз посещал следователь. Хотя никто не сомневался, что

судьба Орлика предрешена, следствие по этому делу тянулось всю осень. В интересах безопасности главврачу было дано распоряжение пропусков к Рябинкиной не выдавать. Но Фёдор Самохин каждый день после смены мчался в больницу Эрисмана. В его памяти эти долгие месяцы слились в чередование застывших картин: уродливые очертания больничных корпусов, окошко в справочное бюро и полуотворённая дверь приёмной хирургического отделения, куда он тыкался со слепым упорством помутившегося сознания.

Его выгоняли. Фёдор безропотно уходил и тут же возвращался, преследуя нянечек и санитарок таким нестерпимо униженным взглядом, что задубевший медперсонал сдался. Старшая сестра Нина Петровна, по общему мнению — средоточие ехидства, сжалилась первая. С её молчаливого согласия «блаженному» разрешили торчать в приёмной до позднего вечера. О Зинаиде говорили только, что состояние удовлетворительное. Конечно, ни слова о том, что она отказывалась есть и ей вводили искусственное питание, что она выплёвывала лекарства и дважды пыталась разбить голову о край железной кровати.

Двадцать седьмого ноября — этот день Фёдор запомнил на всю жизнь — сидел он, как обычно, в приёмной, рассеянно глядя в окно. С утра кружил мокрый снег и в ореоле уличной люминесцентной лампы снежинки казались летящими на свет мотыльками. Вот через двор прошмыгнула знакомая сестричка в накинутом на плечи пальто, вот к приёмному покою подкатила «Скорая» и насмешливо мигнула Фёдору красными тормозными огнями.

Нина Петровна тронула его за рукав.

— Федя, тебя заводделением хочет видеть.

Путаясь в полах не по росту длинного халата, взбежал Фёдор на второй этаж, в кабинет доктора Крупицина.

Доктор встал из-за стола и пошёл ему навстречу, протягивая руку.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, Фёдор... простите, не знаю вашего отчества.

— Васильевич... — Фёдор оробел, присел на краешек стула и обрадовался, что халат прикрыл его замызганные ботинки.

— Кем вам приходится Зинаида Рябинкина, Фёдор Васильевич?

Фёдор стиснул руки между колен и молчал, уставившись в пол.

— Извините, я не из любопытства спрашиваю. По документам у неё нет никаких родственников.

Фёдор поднял на доктора глаза, и Крупицин механически отметил про себя: «нервное истощение... невропатологу бы его показать».

— Рябинкина поправляется, Фёдор Васильевич, организм у неё молодой и крепкий. К Новому году мы должны её выписать... Больше держать не имеем права. Я сделал почти невозможное... договорился с главврачом дома хроников. Он согласился принять её, но только до весны... пока не научится пользоваться протезами, — доктор помолчал и закончил медленно и внятно, как диктовку. — Зинаида Рябинкина — инвалид первой группы.

— Нет-нет, не надо! — Фёдор вскочил со стула. — Не отдавайте Зину к хроникам... Я сам... Я сдельно триста в месяц вырабатываю. Она нуждаться не будет. И комната у меня восемнадцать метров, светлая, окна на улицу. Я отпуск возьму, ремонт сделаю... вы не сомневайтесь! А за больными я ходить умею — у меня мать два года парализована была, спросите хоть у соседней. Вы только... — Фёдор всхлипнул, не спуская с Крупицина измученных глаз, — поговорите с ней, доктор, чтоб согласилась... Мне всё равно не жить без неё, — он замолчал и уткнулся лицом в рукав.

Доктор Крупицин вдруг подумал о своей дочери. Семья жила, как в аду, потому что Леночкин бывший муж отсудил комнату в их профессорской квартире и привёл туда новую даму.

«Ты, что же, завидуешь безногой девчонке?» — спросил себя доктор и положил руки на трясущиеся Фёдоровы плечи.

— С завтрашнего дня можете навещать Рябинкину. Нина Петровна выпишет вам постоянный пропуск. Ну, а дальше... решайте с ней сами...

Зинина палата — самая последняя в конце коридора. Фёдор стоит перед закрытой дверью в новом костюме и белой рубашке с отложным воротничком. Он только что из парикмахерской и над ним висит душное облако «шипра».

Сзади неслышно подходит Нина Петровна. Ей до смерти хочется присутствовать при их встрече.

— Иди, я предупредила её, — и легонько толкает Фёдора в спину.

Он поворачивается к ней с таким лицом, что Нина Петровна отшатывается и семенит прочь.

Фёдор держится за дверную ручку и беззвучно шевелит губами. Только начало, которое слышал от бабки в детстве: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твоё...»

— Господи, сделай так, чтобы она меня не выгнала... пусть она только выслушает, сделай так, чтобы она согласилась выслушать... Отче наш, иже еси на небеси...

Он открывает дверь. В глубине коридора, у поста, маячат, изнывая от любопытства, старшая сестра и две санитарки.